

Со стихотворением Пушкина «Узник» у меня приключилась однажды в детстве такая вот не-задача.

В сорок втором году мать с такими же, как она, солдатками и вдовами погибших на фронте мужей да с негодными к строевой стариками рыли под Сызранью окопы.

Это я сейчас знаю, что у немцев была цель захватить Сталинград, чтобы двинуться вверх по Волге, в обход, на Москву. А тогда — где уж мне, мальцу... Только и делов — перекатываться с печки на полати. И — обратно.

Вот и готовилась нашими сельчанами, и не только ими, оборона встреч предстоящему наступлению.

До нас, до наших самарских мест, уже доносились отдалённые орудийные раскаты боёв у волжской твердыни.

В один из дней военной весны у правления колхоза, на солнечной стороне собрался сельский сход нанимать на лето пастуха. Сход, старики и остальные от рытья окопов вдовы шумели, а мы, ребята, не вникая в говор и споры старших, жались к тёплым завалинкам, кричали и галдели, предощущая недалёкое лето.

Пастухом стал Ваня Бурок, бестолково, незадачливо трудолюбивый и потому бесталанней в хозяйствовании мужик. Дети его порой недоедали, а общество давало надёжный кусок хлеба семье пастуха. На радостях Бурок угостил старейшин села, поставив им литр вина, в те пустопорожные времена неизвестно где им добытого. Вином у нас в деревне называли обычную сорокоградусную водку. Пировали в нашей избе. За кухонным столом сидели в распахнутых полушубках деды: Родька, Фетис и мой — Трофим. Моя бабка Анна уже перестала подавать им скудную по военным годам снедь и присела неподалёку на судней лавке. Рядом с ней — вездесущая старуха Щербуха, без которой ни одно событие в селе не проходило. Ваня Бурок, тоже не раздевшись и только сняв шапку, примостился на корточках прямо у входной двери подле другой лавки, из почтительности к дедам не смея даже присесть на неё.

Я наблюдал это редкостное в те годы застолье с печки, свесившись головой на задоргу.

Литровая бутылка была уже наполовину пустая, и старики от разговоров перешли к песням. Пропели «У зори, у зореньки...», «Ревела буря, дождь шумел...». Эти песни мне были знакомы понаслышке, может, когда-то и кем-то петье. Старики на время умолкли, откашливаясь, и в воздухе избы как бы ещё слышалось протяжно-печальное звучание «Ермака».

Дед Родька, с кольцами уже рдеющих кудрей на голове и в бороде, в молодости, видно, очень буйных, в отличие от других стариков, всегда, в любой час и в любую минуту задорно неутомимый, не терпел уныния. Он то и дело поводил плечами и всё пытался начать плясовую:

*Ох, тюшки, Макар  
С горнушки упал...*

Фетис махнул в сторону Родьки рукой.

— Погодь, Родивон, — остановил он его и с некоей уж очень значимой стариковской важностью помолчал, как бы готовя себя к чему-то, что не высказать обычной человеческой речью. Совершенно седая густая борода Фетиса почти покрывала всё его лицо и была такой плотной, что казалась выкованной из серебра. Глаза его едва виднелись из-под густых бровей.

Вот он приподнял над столом большие мослатые руки и, плавно поводя ими, тихо, настроичиво напел для всех незнакомый мне мотив. Родька и мой

дед прислушались и, как только Фетис сделал высокий и резкий взмах, все три баса дедов всколыхнули воздух избы:

*Сижу за решёткой  
в темнице сырой,  
Вскормлённый в неволе орёл  
молодой,  
Мой грустный товарищ,  
махая крылом,  
Кровавую пищу клюёт  
под окном...*

Лица стариков, в повседневности, в быту обычно простые, по-домашнему привычные, с выражением нескончаемых житейских забот, стали торжественными, а их голоса уж очень ощутимо, явственно выражали строй и глубину песни. Пели они чисто, слаженно, подпирая бородами грудь, в особо сжимающих душу местах горестно-разудало покачивали головами. Я впервые слышал эту песню.

При начале следующего запева Родька потянул к себе мою бабуку, успев крикнуть:

— Айда, Анна, голоси!

— Да разве я вас вытяну, одна-то!?

А песня звучала, лилась и лилась. Ах, что это была за песня по своей протяжности и грусти! Из тёмных дрожащих ртов моих дедов летело куда-то на волю, на простор: «Давай улетим!», потрясая стены избы, её воздух. Бабка наконец тоже не вытерпела, придвинулась ближе к столу и, склоняясь к мужским головам, пристроилась в лад пению:

*Мы вольные птицы, пора,  
брат, пора!  
Туда, где за тучей белеет  
гора,  
Туда, где синеют морские  
края,  
Туда, где гуляем лишь  
ветер... да я!..*

Густые басы дедов в том месте, где пелось «Туда, где синеют морские края...» словно просквозил необычайно высокий бабкин голос, взмыл над ними, как жаворонок в небе, и долго звенел на пределе, покрывая басы дедов неизъяснимой печалью.

Лицо же бабки, как и у дедов, тоже преобразилось, словно бы сам всевышний провёл по нему своей благостной дланью и, пусть по-старушечьи, но как бы утончил его, враз и напрочь смахнув будничную, обыденную повседневность.

*Нельзя, брат-товарищ,  
с тобой мне лететь,  
Наверно, суждено мне  
в тюрьме помереть.  
Закованы руки и ноги  
в цепях,  
Нет силы могучей  
в иссохших руках...*

Песня окончилась, но все ещё и певцы, и мы, слушавшие, находились в её власти.

Первым не вытерпел Ваня Бурок. Он взмахнул забормотал что-то возбуждённое, неразборчивое, от того его и прозвали Бурком, с силой хлопнул шапкой об пол и уткнулся лохматой нечёсаной головой в колени. Я видел, как раза

два дёрнулись его никлые плечи. «Бурок-то Бурок, по-сельски, вроде бы и недотёпа, — по-взрослому тогда подумалось мне, — а гляди-ка, гляди-ка, как он...»

— Разнечистая ваша сила, — причитала и Щербуха, тоже утираясь передником. — Разве так можно? Аж сердце заходится...

Лица стариков ещё хранили на себе следы торжественности, а бабка так и сидела вся ещё преобращённая, не такая, какой она мне была ежедневно наскученной, с бранью гремящей ухватами в подпечье, ворчащей на неразгорающиеся, а больше дымящие («ни бздят, ни горят!») кизяки в печи, которыми «проклятыми, и шти не сварить» в её закоптелом горшке.

Только непоседливый дед Родька снова широко развёл руки и спел свою безунывную частушку, притопывая под столом ногой:

*Я ли, я ли не попёнок,  
Я ли не попёночек,  
Я ли, я ли не любил  
Молоденьких девчоночек!*

2

В нашем селе была только начальная школа. Я окончил её и поохотился учиться дальше. Никто в семье этому не воспротивился, хотя в те годы редко кто решался покидать родной дом. Перед началом занятий дед отвёз меня в Алексеевку, в районную среднюю школу.

Учился я неважно, хоть и старался. Причиной тому были не покидавшие меня тоска и мысли по родным, по матери, по деду с бабкой, чем бы я не был занят.

Вот это жившее во мне ощущение малой родины, неизбывной тоски по ней меня однажды подвели.

Нашему классу было задано выучить стихотворение Пушкина «Узник». Я его знал наизусть ещё по пению моих дедов. Но видел в учебнике как бы неполным, только не придавал этому значения. Бывало же, что, и не однажды, стихи и рассказы некоторых авторов давались в учебниках, по разным соображениям, укороченными. Я посчитал, что и с «Узником» поступили так же. На другой день меня вызвали к доске прочесть это стихотворение. Хорошо помню себя той поры: в серых, с голенищами выше колен, валенках, в бязевой крашеной рубашке, заправленной в такие же брюки на бечеве из конопляных прядей; стриженная лесенкой домашними ножницами голова. В классе стояла тишина. Высокая, стройная учительница Нина Васильевна, благожелательная и чуткая к каждому ученику, ни на полноты не повышавшая голос на нас, неслышно прохаживалась между рядами парт.

Читал я стихотворение почти машинально, потому что мыслями опять был в родном доме. В забытии прочёл и четверостишие, которого не было в учебнике. Только помню, когда начал:

«Нельзя, брат-товарищ, с тобой мне лететь», класс и учительница насторожились, а когда кончил читать — по рядам прокатился смех моих одноклассников.

Нина Васильевна, в тупик поставленная моим чтением, вся озадаченная, приблизилась ко мне, положив мне ладонь на темечко.

— Что с тобой, милый? — проговорила она как-то уж очень сердечно и участливо склоняясь надо мной. — Ты не болен? Не бредишь?.. Таких строк в стихотворении нет. Их Пушкин не писал.

— Есть, их у нас в селе наши деды даже поют.

— Ну и ну... Что же это за деды у вас такие, так верно, по-своему предопределившие судьбу Пушкину?..

Скоро меня везли в Несмеяновку хоронить деда. Была несусветная пурга. Степь гудела под ветром. Казалось, мы ехали через белый кромешный ад, внутри которого что-то постанывало, как будто кто-то жаловался. Из всех горестных дум, охвативших меня в этой слёзной дороге, была и такая: не у кого мне теперь узнать о последнем четверостишии в «Узнике». Кем оно присочинилось?..

### 3

В старших классах и позже, перечитывая всего Пушкина, комментарии и примечания ко всем его стихам и даже всё незавершённое и не законченное им, я всё искал оправдание моему

конфузу на уроке литературы. Не нашёл. Но во мне жило чувство правоты строки: «Закованы руки и ноги в цепях...» применительно к самому поэту, к его последним годам жизни. И только всё спрашивал себя: чья же это отчаянная голова осмелилась присочинить свои строки к «Узнику»?

В последней квартире Пушкина на Набережной Мойки меня поразил портрет поэта, выполненный художником Линёвым, никогда раньше не виденный мной. Глядя на это лицо — серо-жёлтое, с горькой складкой у рта, с усталым, совсем не пушкинским сумрачным взглядом и редкими, поникшими волосами, в общем, какое-то истрадавшееся лицо, — невольно подумалось: Пушкин Пушкин, что с тобой сделали! А девушка-экскурсовод всё говорила о его долгах, Дантесе и анонимных подмётных письмах. Когда же стала читать обращённые к жене строки «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» и: «Давно, усталый раб, замыслил я побег...», я не смог удержать удушающий спазм в горле и отошёл к окну. Но не видел ни Мойки, ни Набережной с прохожими — всё застилала горячая пелена в глазах.

Голос же экскурсовода и почтительный шелест шагов посетителей приглохли и отдалились, словно мне заложило уши, и в этой тишине вокруг меня вдруг грянуло знакомыми родными голосами:

*Сижу за решёткой в темнице сырой...*

И увиделись далеко, но чётко, как в бинокль с обратной стороны, наша изба с саманными побелёнными стенами, её подслеповатые окна, подвыпившие старики за скоблёным кухонным столом.

«...Получил я от государя императора позволение жить в Москве, а на следующий год от Вашего высокопревосходительства дозволение приехать в Петербург», — отдалённо долетал голос девушки-экскурсовода, цитировавшей письмо Пушкина к Бенкендорфу.

А от себя экскурсовод прибавила:

— Мало того, что царь был личным цензором Пушкина, он учредил за ним через третье жандармское отделение постоянный неусыпный надзор. А сколько клеветы сплетал вокруг поэта высший свет! Что уж тут скажешь о жизненной

и творческой свободе Пушкина! Недаром в обращениях к друзьям он сетовал на свою жизнь в светском придворном Петербурге, выражал желание уехать в деревню, заняться литературным трудом. В письме помещице Прасковье Осиповой, соседке по сельцу Михайловскому, Пушкин пишет: «...свет — мерзкая куча грязи...»

Шефу жандармов графу Бенкендорфу он жалуется: «Сочинения мои ... с своевольными поправками цензора... Я не смею печатать мои сочинения — ибо не смею...»

А над этим слабо слышимым мною, но внятным рассказом девушки-экскурсовода — другие, дрожащие басы стариков в распахнутых полушубках и высокий, на пределе, голос моей бабки потрясают стены далёкой нашей степной избы:

*Закованы ру-у-у-ки, и ноги в цепя-а-а-ах...*